

ТИРАН

Герцог сидит, подперев голову рукой. В низкую дверь, скрытую деревянной панелью, осторожно стучат. Он вздрагивает. Приложив руку к сердцу:

— Уже?.. Как глупо, что я так взволнован! Ведь этот страх вызван только тем, что она красива... Будет ли она *до этого* моей?.. Разве я ее не достоин? Значит, она будет моей.

Опустив голову, он ходит взад и вперед, останавливается перед большим зеркалом и пристально, не отрываясь, смотрит в него.

— Почему я позвал ее *до этого*?.. Что меня вынуждает? Разве приказ, который я отдам через полчаса, не может быть дан сейчас? Или я должен сперва доказать себе, что не боюсь ее?

Тяжело дыша, он подбегает к столу, достает из ящика кинжал и прячет в карман мундира. Идет к двери. Останавливаясь:

— Женщина!

И, вытащив кинжал, снова кладет в ящик стола.

— В сущности я боюсь ее только потому, что она красива!

Размышляя:

— Вот оно самое ужасное: страстно желать ее и, обладая, неотступно думать, какой она будет — потом. Ибо потом она будет такой же, как и все остальные, какими стали все те, к кому я прикоснулся...

Выпрямившись, со злобной улыбкой:

— Которые прикоснулись ко мне!

Снова стучат, еще тише, чем раньше. Он открывает дверь и говорит:

— Вы привели даму? Просите ее войти.

Голос старухи:

— Сюда, синьора, его высочество зовет вас!

Он отступает назад. Резко:

— Я жду.

Голос старухи:

— Где же вы, синьора? Что это вам вздумалось заставлять ждать его высочество господина герцога! Где это вы там прячетесь в тени деревянных идиолов?

Грохот. Крик.

Голос старухи:

— Синьора Раминга! Что с вами?

Раминга Гвидати вбегает в комнату. Она в пышном темном шелковом платье, черное кружево, покрывающее волосы, связано под грудью крепким узлом.

Герцог:

— Итак, вы пришли, прекрасная Раминга. Я не думал, однако, что вы будете так бледны...

Тише, с ударением:

— ...едва войдя сюда.

Раминга:

— Ваше высочество, это меч упал.

— Меч?

— Совсем подле меня. Он скользнул вдоль тела и задел мне грудь и руку.

— Вы бредите!

— Зачем вы приказали сводне вести меня через эти темные развалины театра? Мне сразу стало жутко: в воздухе пахло гнилью. Деревянные статуи на галереях дрожали, когда я проходила, словно хотели кинуться на меня. Одна уронила свой меч: может быть, она бросила его в меня?

— Поистине, вы говорите так, будто заслуживаете удара мечом.

Она овладевает собой.

— Я не понимаю вас, ваше высочество. Разве вам не известна дурная примета: если между двумя любя-

щими падает оружие, один из них неизбежно умрет. Вы дали мне понять, что любите меня. И мне...

С хорошо разыгранным смущением.

— ...вы не безразличны.

Он молчит.

— Поймите же, что я испугалась за вас!

Герцог, все еще в замешательстве:

— Какое отношение имеете вы к оружию, синьора?

Поднимает голову, окидывает ее подозрительным взглядом.

— Уж не боитесь ли вы и за себя?

Молчание.

Он, мягче:

— Если эта любовь принесет одному из нас гибель, может быть, мне лучше отказаться от вас?.. Ступайте! Вы свободны.

С детской улыбкой, почти умоляюще:

— Ничего не случилось. Я забуду. Более того, я буду благодарен вам за вашу заботу, буду чтить вас, синьора!

Она, с презрением:

— И это говорит мужчина?

Он, резко меняя тон, с подчеркнутой галантностью:

— Вы правы. Могу ли я отказаться от той, которую так давно боготворю! Вы боитесь, что ваша любовь угрожает моей жизни, но разве это не делает вас еще прекраснее? Синьора, мне нравятся большие, сильные женщины. Такой, как вы, я представляю себе Юдифь... Рука ваша немного в пыли от задевшего вас меча. Позвольте, я сниму эту пыль поцелуем.

В то время как он стоит склонившись, она поднимает правую руку к кружеву на груди, колеблется и опускает ее.

— Как вы молоды, ваше высочество! Правда, я знала, сколько вам лет, но думала, что выглядите вы, конечно, старше. А на деле вы кажетесь моложе своих лет... Ваши деяния... должны были вас преждевременно состарить, ужель случилось обратное? Я вижу чистого семнадцатилетнего юношу. Ребенка. И этого ребенка мне придется...

— Что придется, синьора?

Она вздрагивает.

— Любить... Как вы ослепительны, ваше высочество! Большие отвороты мундира заливают пурпуром вашу грудь, словно...

— Словно у палача?

— О нет! Как у князя! Можно подумать, что вы принимаете равного себе по происхождению, а не какую-то неизвестную женщину. Вы хотели понравиться мне? Какая мягкая детская рука... И каким холодом веет от этого василиска на вашем перстне. Рука у вас мягкая, а грудь... Что, без панциря? Под мундиром нет панциря? Значит, это неправда, что вы появляетесь в панцире на аудиенциях, что вы даже спите в панцире?

— И встречаясь с возлюбленной?.. За всеми этими вопросами, синьора, вы, очевидно, позабыли, зачем пришли.

— Могу ли я не тревожиться за того, кто похитил меня, зажег во мне огонь страсти! Когда вы проезжали под моим окном, я видела вас всегда окруженным телохранителями. Их смуглые лица совсем скрывали ваше — белое и такое тонкое. Я едва могла разглядеть, как широки ваши плечи, не глаза мои влекли меня к вам, но душа моя. Грохот вашей кареты преследовал меня бессонными ночами.

— Ваши глаза, синьора Раминга! Почему вы закрываете их вуалью?

— О! Я стыжусь своего признанья! Стыжусь того, что сейчас произнесла, что совершила. Ведь я сама предложила вам себя. Что оставалось мне делать? Робкий, как ребенок, вы уже который месяц, встречая ежедневно мой призывной взгляд, опускаете глаза. Чтобы заставить вас прислать ко мне сводню, я была вынуждена показаться вам, выходя из ванны...

Герцог, стиснув зубы:

— У вас красивая грудь, синьора.

Он подходит к Раминге, хочет коснуться ее и снова опускает руку.

— Вы очень добры, что пришли. Но думали ли вы о том, какой должна быть моя возлюбленная? Вы видите, еще недавно я был отроком. И потом я очень одинок. Мне нужна защитница, почти мать.

— У вас есть мать, но вы изгнали ее.

— Мать, которая любила бы меня. Меня никто не любит!

— Вам ли жаловаться! Вам!

Он нерешительно улыбается.

— Я говорю только, что моей возлюбленной может быть та, что меня предостерегает, бодрствует поочередно со мной. Ведь никакой другой охране я не могу довериться. Та, что вовремя увидит кинжал, спрятанный в складках плаща, и отведет его от моей груди...

С нежной настойчивостью:

— Что вас испугало, синьора?

— Что? Разве то, что вы говорите, не ужасно? Жизнь, которую вы якобы ведете, должна быть хуже смерти! Но вы преувеличиваете. Почему бы вам не доверять своим придворным? В городе слишком хорошо знают, что вы вполне можете на них положиться.

— Моим слугам, этой своре гончих? Я не могу положиться даже на лучшего из них. Каждый очередной заговор может разбудить в них чувство чести, и они покинут меня. На худших — пожалуй, ибо совершенные ими по моей воле злодеяния лишают их возможности вернуться к людям. Правда, не окончательно. Есть деяние, которое могло бы искупить все преступления, снова примирить их с честными людьми.

— Что им для этого нужно сделать?

— Убить меня.

— Я вижу, ужасы стали для вас забавой! Вы настолько подозрительны, что искали бы яд даже в материнском молоке.

— А кто скажет, что там его нет? Что может быть невиннее яйца, не правда ли? Однако в скорлупе поданного мне на завтрак яйца я обнаружил дырочку, о, крошечную, никто бы не заметил ее, кроме меня, постигшего это дело в совершенстве. И собака, съевшая яйцо, погибла.

Он смеется, потирает руки.

— Так никому еще не удалось убить меня. И кто знает, не удастся ли мне и впредь избежать опасности! Церковь молится за меня, но я не столько надеюсь на

нее, сколько на свою проницательность. Я горжусь ею. Жизнь, которая уже не раз могла быть прервана насильем, и все-таки сохранилась, дает большое удовлетворение. Или вы думаете, синьора, что это малое утешение — слышать, как один из твоих телохранителей называет сумму, за которую он берется тебя убить, между тем как ты стоишь позади, переодетый конюхом? Потому что, как знать, синьора, быть может и скромный продавец напитков, наливающий вам в стакан несколько анисовых капель, не кто иной, как ваш герцог, а актер приезжей труппы, потешивший вас своей остротой, — ваш тиран? Я артист, синьора. Больше, чем вы думаете!

— Никто, услышав этот задорный мальчишеский смех, не поверил бы, что это смех убийцы. То, что вы говорите, ваше высочество, причиняет мне невыразимую боль. Но так ли уж вам хорошо живется, как вы стараетесь представить? Я женщина и смотрю на вас сейчас, как на ребенка. И я не верю, что ваш смех радостен.

Он молча глядит мимо нее куда-то вдаль.

— Так что же вы думаете?

— Что вы заслуживаете сострадания. Что вы, быть может, не знаете всего, что делается вокруг вас, ради вас и вашим именем.

Герцог пытается возразить, но она продолжает:

— Меня только что ввела в заблуждение ваша улыбка: нежная, она словно говорит, что вам не чужда доброта. Идя сюда, я не думала, что вы будете улыбаться.

То сплетая, то разнимая пальцы:

— И я уже не уверена в том, что мне делать.

Герцог смотрит в сторону, взгляд его печален и строг.

— А были уверены? Почему вы добивались встречи со мной, синьора?

— Вам угодно, чтобы я сказала? Что ж, я готова. Как совладать с собой? Страх, который вы распространяете, притягивал меня. То ужасное, что связано с вашим именем, воспламеняло меня. Назовите это нездоровым любопытством, порочной страстью. Или вам

этого недостаточно? Вы ведь должны дурно думать о женщинах. Разве вы не презираете тех, кого успели узнать?

— Я не знал еще ни одной.

— Ни одной? А все те, кого считают вашими жертвами?

— Ловко придумано! Раз уж девушка от кого-то забеременела, не лучше ли объявить, что над ней надругался тиран?

— Не грежу ли я? Но ведь не кто иной, как вы, вкравшись в доверие юного Валенте и его друзей, предал их и отдал в руки палача.

— Я был их другом.

— Им на погибель! Если бы молодые люди покончили с министром Вампа, не посвящая вас в свои намерения,— кто знает, как бы вы отблагодарили их, взойдя на трон!

— Да, кто? Вы не знаете, но, может быть, знаю я. Я был их другом.

Раминга вне себя:

— Не оскорбляйте и сегодня чувства, которое питали к вам эти несчастные! Они были молоды, слишком молоды, иначе не тешились бы надеждой, что потомок целого рода насильников может превратиться в освободителя, не доверились бы принцу, когда нужно было уничтожить приспешника герцога! На ваши заверения в дружбе они ответили бы почтительностью, проникнутой деланным презрением.

Он, горячо:

— О! Они не сделали бы этого. Мы любили друг друга. Это было лишь однажды, и они были единственные. Джино! В нем я уверен! Когда они должны были умереть, когда мы были раскрыты — духовник выдал нас,— моя мать, взявшая все в свои руки, потому что отец уже потерял рассудок, представила меня шпионом, проникшим в среду заговорщиков и предавшим их. И вот, когда они должны были умереть, он — о! в нем я уверен,— он отверг все гнусное, что ему нашептывали обо мне, он покинул меня без тени подозрения, унес веру в меня с собой в могилу!

Раминга, теряя самообладание:

— Он? Он презирал своего убийцу!

— Неправда!

— Он был потрясен его низостью! Он с радостью пошел на смерть, такое чувство безнадежности и отвращения к жизни внушило ему ваше предательство.

— Это неправда, неправда!

В отчаянии он поднимает руки, словно обороняясь от ее слов.

— Как вы смеете! Откуда вы знаете?

— Откуда? Валенте был моим братом!

Шатаясь, она подходит к креслу. Впивается зубами в руку, сжатую в кулак. Он протягивает к ней свою.

— Вы выдаете себя! Вы ненавидите меня! Уж не станете ли вы отрицать, что ненавидите меня?

Она стоит, тяжело дыша, в полной растерянности. Глаза его становятся печальными, он уже не видит ее и, опершись на спинку стула, закрывает лицо руками.

— Скажи сам, Джино! Скажи, как горячо мы любили друг друга! Ведь все это было! Уничтожить то, что было — невозможно. Среди безвозвратных дней есть и тот, когда мы брели по холмам в Сан-Паоло. Мы присели у фонтана в аббатстве и оглянулись назад.

Он оживает.

— Лица наши пылали от слов, которые произносили уста. Вся земля — кипарисы, розы, цветущие персиковые деревья, серебристая листва маслин — кружилась перед нами в светлом хороводе. По дорогам стремились люди и стада, сверкающие города приветствовали нас. Какая любовь, о Джино! Мы, мы несли этому миру солнце свободы. Мы были рождены освободителями! Глядя в глаза друг другу, мы видели в них священный, безмолвный трепет. Когда так знаешь друга, это чувство должно сохраниться навеки. Неужели у тебя оно исчезло уже на пороге могилы? Ложь! Разоблачи же эту ложь, Джино!.. А, ты молчишь, ты безмолвствуешь...

Устало:

— Откуда же вы можете знать, синьора, что ваш брат отрекся от меня?

— От него самого, в тюрьме, за день до казни.

— Вы были у него, а я... нет!

Горячо:

— Меня не пустили! Поверите ли вы теперь, что меня ложно обвинили в измене?

— Если бы вы действительно предали их, неужто вы захотели бы взглянуть в глаза своей жертвы в ее последний день?

— Вы считаете, что я не способен даже открыто признать преступление, которое приписываете мне. Да, я трус! Я оказался трусом, потому что не бежал за границу и не объявил всему миру, что мною воспользовались для преступных целей. Я должен был бы кричать, что злодеи только и думают о том, как сохранить власть насилия и корысти, а меня сделать своим орудием. Они объявили, что я предал друзей и свободу, чтобы навсегда отрезать мне путь к честным людям, сделать своим пленником. Они принесли меня в жертву, обрекли на муки, более ужасные, нежели испытали осужденные на смерть. И это делает мать! Тупая, косная жажда власти двадцати княжеских поколений толкала ее на преступление, церковь грозила божьей карой, если она осмелится дитя свое предпочесть трону!.. Я должен был кричать, но молчал. Я остался на родине, скованный болью, мучимый гнетом окружающего, тяжестью прошлого, и дал свершиться ужасному. Какой же воли к добру требуете вы от человека, предки которого не жалели сил для того, чтобы уничтожать все доброе на земле?.. Но потом...

Он вздрагивает. Торжествуя:

— После смерти отца, придя к власти, я изгнал свою мать. Я ее все-таки изгнал! Теперь-то уж вы мне поверите! Нет? Все еще нет? Что же остается тогда сказать? Неужели же мне так и не найти доступа к человеческой душе? Так, значит, и Джино отрекся от меня?

Раминга в растерянности. Она готова пожалеть о том, что сказала.

— Если вы действительно невиновны, почему же ваша власть стала для людей еще более страшной и невыносимой, чем владычество вашего отца?

— Почем знать? Или вы думаете, что сам я не ужасался пути, по которому обречен идти? А страх при воспоминании о том, кем я был раньше! Я не хочу верить,

что есть загробная жизнь: как ужасно было бы снова встретиться с Джино!

Она опускает голову и закрывает лицо руками. Он безостановочно, быстрыми шагами ходит взад и вперед.

— Но вот я пришел к власти, и этим все решилось. Я не мог сделать ничего, что не было бы предначертано заранее. Я был клеймен от рождения. Те чувства, которые годами питали в вас мои предки, вы, люди, обрушили на меня. Тщетно стремился я быть вашим другом. Мое происхождение было для вас равнозначно пороку, который все во мне видели, которого все ждали, требовали от меня. Им казалось, что я слишком долго не решаюсь совершить свое первое злодеяние, и они сами толкнули меня на него. А потом вынудили ко второму и третьему. Они жаждали поскорее увидеть меня запятанным кровью! Я был ребенком. Надежда задушить во мне, последнем отпрыске, окаянный, отравленный властью род придала им дерзости. Я защищался, как человек, простирая вперед руку, чтобы не упасть. Потом мост, который вел от меня к вам, рухнул. Гордость одиночества ожесточила меня, и я узнал упительное ощущение того, кто убивает. Я научился издеваться! Помните, что я проделал с последними заговорщиками, которых никак не удавалось обнаружить? По моему приказанию в дворцовом дворе была снята охрана, и по нему прошла кукла-автомат, одетая в мое платье и в точности похожая на меня. Они стреляли в нее. И выдали себя с головой.

То, что мне всегда удавалось уцелеть и разрушить их планы, было моим оправданьем. Разве жизнь, в жертву которой принесено такое множество других жизней, не должна быть особенно драгоценной? Я подобен фантастическому зверю в пустыне, стоящему на вершине горы. Внизу, подо мной, копошатся и ползут вверх по крутизне двуногие гады, скрываясь в расщелинах, с кинжалами в зубах. Они думают, что я их не вижу. Но ни один не ускользает от моего взгляда. Вот приподнялась чья-то голова: мгновенье — и моя лапа разmozжила ее. Как он дерзнул восстать на меня! Но неодолимая сила влечет их вверх. Они должны достигнуть вершины. Гора, пустыня, небо существуют лишь

для того, чтобы я мог убивать! Достаточно меня свалить, и мир будет освобожден. Но я не дамся им.

Он останавливается, голос его звучит страстно и торжественно:

— Ибо я угоден богу. И даже больше других! Быть может, все они стремятся лишь к одному: возвеличить меня. Мои чувства благороднее и ближе богу, нежели чувства тех, кто выслеживает меня. Мое дыханье чище. Я величественнее и прекраснее.

Со сдержанной силой:

— И мне тяжелее. Ступайте и не тревожьтесь: вы не знаете, как проводит ночи тот, кто спит закованный в панцирь. Тот, против которого ополчились все, даже сама жизнь, кто существует вопреки самой природе. Тот, кто все взвешивает, кто видит всех насквозь, всеми повелевает, но сам остается непостижимым для всех. Кто судит всех и кого никто не смеет судить, кроме него самого. Но вот приходит усталость, и страстное желание согрешить овладевает мной: отпустить узду, узнать присущую человеку слабость. Жить жизнью, какой живет каждый из вас: жизнью, которая мало чего стоит, никем не принимается всерьез, течет бездумно, наудачу и наконец — плюх — успокаивается в могиле.

Раминга поднимает голову.

Она стремительно подходит к нему, берет его за руку.

— Отрекитесь от престола! Это будет избавлением для вас и для нас. И даже если бы для нас ничто не изменилось, я вижу теперь только ваше страданье — паше тускнеет перед ним. Я пришла сюда не с тем, чтобы выслушать вашу исповедь. Теперь же все, что я считала кощунственным поношением человечества, встает передо мной, как жалобный лепет заблудившегося ребенка. Если бы я могла вас утешить! Если бы я могла излить на вас ту нежность, без которой вы погибнете! Отрекитесь от престола!

Герцог испытующе смотрит на нее.

— Разве я не мечтал об этом? Ведь это же легче легкого. Стоит лишь закрыть глаза, и становишься другим. Добродушно и тупо бродить в людской толчее, чувствовать дружеское пожатье рук, вдыхать родное

человеческое тепло. После всей этой страшной ненависти знать, что тебя любят! Видеть вокруг себе подобных, считать хорошим то, что находил дурным!

— Вы были бы спасены! Отрекитесь от престола! Станьте в наши ряды, они должны разомкнуться для вас. Я буду вашим провозвестником, я докажу, что вы достойны этого, и перед вами откроются человеческие сердца.

— А нужно ли это? Нет, жить не стоит! Ведь существует так много людей, и все — лишь для утверждения одного. Иногда, сидя на лошади, я всматриваюсь в человеческие глаза и думаю: а почему бы не исполниться твоему желанию убить меня? Когда-нибудь и самому смелому приходит конец. Эта страна знала уже много тиранов, нас осталось еще семеро. Но река времени настигает нас. Между вчерашним и завтрашним — наш сегодняшний день подобен жалкому обломку скалы, и мы уцепились за него. Я чувствую, как море истории смыкает надо мной свои волны, а небосвод вечности гнетет меня своей тяжестью.

— Вы не одни! Слышите? Склонитесь на грудь, которую вы назвали прекрасной.

Он делает движение и... снова отступает назад.

— Нет, я не смею, я должен предвидеть... Меня пугает холод груди, на которой я пашел бы забвенью.

— Бедный!

— Скажите мне только: говорят ли обо мне, что я слаб? Шепчут ли, что жестокостью я прикрываю раскаянье? Что в каждом новом злодеянии я ищу оправдания для предыдущего? В глубине души вы, может быть, чувствуете, что я предпочел бы быть милосердным, и поэтому, именно поэтому восстаете против меня?.. Нет?.. Хочу верить! Потому что вы можете обмануться. Я прекрасно знаю: пока у тирана нет совести, он сохраняет полноту власти и ее признают за ним. Его могут ненавидеть, бороться с ним, но никто не станет смотреть на него сверху вниз. Первый из моих предшественников на этом троне был Эрколе, тот Эрколе, который вынужден был самый незначительный из моих городов покорять дом за домом, огнем и мечом, — и как

они восхищались им! Красильщики, сапожники, они шли, подобно побежденным титанам, замыкая торжественное шествие, в котором он был Юпитером. Он приказал обвенчать себя со статуей, вырытой из земли. Он был супругом красоты и побеждал великанов, — внушал ужас и был весел. Мой отец походил на него — жестокость сочеталась в нем с взбалмошностью и чудачеством. В вышитом камзоле и напудренном парике он разгуливал с тростью в руке среди уличной толпы и, приказывая повесить кого-нибудь, сопровождал свое распоряжение такими шуточками, что кругом хохотали. Голодным мальчишкам он дарил медную монету, если они соглашались есть навоз. О фантастических попытках, которые он на закате дней, будучи уже безумным, изобретал для вас, вы будете вспоминать дольше, чем о благодеяниях Мессии! Я должен быть таким, как он! Никто не смел посягнуть на него, потому что он сам считал себя недосягаемым. Вы преклоняетесь только перед открытым злодейством. Самое опасное для тирана — это проявить человечность, для которой он, может быть, и рожден. Вы никогда не простили бы мне колебаний. А может быть, вы уже почувствовали их во мне? Это ошибка! Скажите им, синьора! Я никогда не сомневался в могуществе власти. Это неправда, будто она приносит бесчестие, — бесчестие и тому, кто облечен ею, оттого что, унижая себе подобных, он будто бы унижает самого себя. Неправда! Неправда, что я когда-либо жаждал взглянуть в глаза свободного человека, мечтал вернуть к жизни героев древности, увидеть около себя граждан исчезнувших республик. Никто не смеет презирать власть, которую я держу в своих руках. Мне ничего не стоило бы обратить презрение в ужас.

Раминга плачет. Он хватается за голову.

— Кого вы оплакиваете, синьора? Или вы думаете, что я не способен свершить нечто поистине великое, о чем не мог бы помыслить ни один тиран? Неужто я пленник власти! Неужто не мне принадлежит власть, а я ей, отравившей мою кровь еще во чреве матери? Наперекор этой власти я могу пожелать свершить то, о чем самые отчаянные из вас никогда и не мечтали. Я могу решиться стать вашим вождем и выступить

вместе с вами против тех шести, против моих собратьев-тиранов.

Улыбка озаряет лицо Раминги. Она подносит к губам вздытые с мольбою руки.

— Народы в слепом восторге бросятся мне навстречу, как вы того желали, синьора! Я увлеку их за собой в своем победоносном шествии. Еще раз подниму я меч Эрколе, и так же, как в его руке, когда он дом за домом покорил маленький город, так и в моей он королевство за королевством спаяет воедино всю эту охваченную пламенным порывом страну. Все вы теперь мои! Все! Так пойте мне гимны и воздвигайте трон! Я же спущусь по его ступеням. Так же, как я открыл бы клетку и выпустил на волю большую прекрасную, редкостную птицу и, улыбаясь, смотрел бы ей вслед, так я дарую вам свободу. Я дарую стране свободу, всей завоеванной и объединенной мною стране, отрекаюсь от престола и ухожу.

Раминга падает перед ним на колени, прижимается лицом к его рукам.

Задыхаясь от счастья:

— Алессандро! Я люблю тебя!

Глядя поверх нее в большое зеркало, он говорит, словно в каком-то пророческом исступлении:

— Я стою на корабле и смотрю на удаляющуюся землю, которой подарил счастье. Слова любви, прощальные рыдания провожают меня. Но вот и они затихают. До меня доносится уже только гул безбрежных просторов. Там, в голубой дали, исчезает земля, величайшим сыном которой я был.

— Да, это ты! О этот час! Разве я не чувствовала его приближенья? Освободитель стоял на пороге, а я не узнала его? Боже! И я хотела убить его. Слышишь, Алессандро, я пришла сюда с кинжалом. И я тоже!

Она вытаскивает из складок кружевной шали кинжал и бросает на пол. Герцог вздрагивает, по лицу его разливается выражение безмолвного ликующего злорадства. Усилием воли он овладевает собой. Ничего не замечая, она рыдает, припав к его рукам.

— Я не знала вас, я родилась на чужбине и выросла

в скитаньях. Мой отец был изгнан вашим отцом. Муж мой, тоже изгнанник, ненавидел вас. Сознание своего бессилия перед вами убило его. Приехав сюда под чужим именем, я застала еще в живых загубленного вами брата. От мужа я унаследовала презрение и ненависть к вам. Жажда свободы была тем единственным богатством, которое мог завещать мне мой бедный старик отец. Ни разу до того, как у меня возник план убить вас, не видела я ни вас, ни вашей улыбки. Меня влекло к вам единственно мое воображение: в этом я не солгала вам. Грохот вашей кареты преследовал меня бессонными ночами, столь пламенным было мое чувство к вам.

— Бедняжка! Так прекрасна, создана для любви,— и одержима ненавистью! Кто отравил вас ею? Наследие мертвеца! Так неужели же взгляды, живые, теплые взгляды, исполненные желания и восторга, которые я бросал вам в окно, ни разу не взволновали вас, не тронули сердце?

— Было ли это возможно, когда вы сами изо дня в день все новыми злодеяниями подавляли те добрые чувства, которые могли проснуться во мне? Но теперь я больше ничему не верю! И брат мой, умирая, напрасно подозревал вас в предательстве! Разве я видела вас злобным? Я увидела вашу улыбку, услышала ваши слова, почувствовала, что вы заслуживаете сострадания, что вы чистый и робкий, что вы способны на великие подвиги и нуждаетесь в любви. Только это правда. Все, что говорили другие,— ложь!

— О, как я нуждаюсь в любви, одинокий и такой еще молодой! Но кто же лгал, бедная моя, хорошая? — Он нежно гладит ее по голове.

— Каstellари, Габелла, оба Сасси — все родичи, все друзья моего дома, улицы, город.

— Ну, а остроумная идея прикончить меня столь галантным образом, в минуту любовной встречи,— кому принадлежит она?

— Мне самой! Презирайте меня, но поверьте: в моем злодейском плане тайлось предназначенье самой судьбы, желавшей, чтобы я встретила и узнала вас! В глубине моего сердца — о! теперь я понимаю себя! — было

предопределено, что я приду не с тем, чтобы принести смерть, но напротив — любовь, и что, выйдя из этой двери, я покажу народу не бездыханный труп, а освободителя!

Подняв к нему глаза:

— Ведь вы сейчас же, не правда ли, сейчас же делаете то, что обещали? Вы вместе со мной тайно покинете дворец. А иначе ваши стражи, которые только называют себя вашими слугами, не пропустят вас. Священный залог свободы, вы будете среди нас неприкосновенны!

— Да, немедленно! Но где же мы найдем ваших?

— Одни ждут в Джезу, другие в моем доме.

— Ждут!

Разражаясь смехом:

— Ага, они ждут? Чего же, интересно знать? Моей головы? Вы намеревались показать им в окно мою голову?

Он отталкивает ее с такой силой, что она падает. С хохотом бросается в кресло. Указывая на нее пальцем, звонким голосом:

— Вот она лежит, как пустая скорлупа! Я выпытал у нее все: то, что она живет под чужим именем — я не знал этого, — и все остальное, что мне уже было известно. Конечно же, я знал и вас и ваших сообщников. Я знал все!

С едкой иронией:

— Ну и наивны же вы, синьора, если вообразили, будто я мог довериться вам до конца, не зная наперед, что вы обречены смерти. Так вот оно, роковое предзнаменование, падение меча! Один из нас должен умереть. Вы испугались, однако вы не знали, насколько ваш страх был основателен!

Она поднялась с пола и, прижимая руки к груди, шаг за шагом, с искаженным от ужаса лицом, пятится к двери. Случайно наступает ногой на кинжал, хватается его, бросается вперед. Он бежит к столу, прячется за него и, обезумев, кричит:

— Стража! Стража!

Одна из дверей открывается, и в ней показываются телохранители.

Герцог, овладев собой:

— Нет, нет! Еще рано.

Дверь снова закрывается.

Он выходит из-за стола и приближается к Раминге, которая презрительно смеется, держа кинжал за спиной.

Он, гневно:

— Неправда! Я не трус! Величайшего уважения заслуживает тот, кто, не будучи храбр от природы, принуждает себя поступать как храбрец! Я допустил трусость лишь в одном, но не вам презирать меня за это: я отказался от вас, когда вы готовы были упасть в мои объятия, потому что знал, что прикажу умертвить вас. Вы не поняли меня, синьора: когда я говорил, что грудь ваша охладает, меня пугало не то, что вы перестанете меня любить, а другое...

— К чему этот разговор? Ведь вы способны только на ложь и убийство — а меня вы уже убили!

— Я не лгу. Любить вас, обреченную смерти, казалось мне кошунством.

— Это не похоже на вас. Вы не были бы в полной мере тем извергом, тем особенно опасным, в силу обаяния молодости, чудовищем, которое я только что хотела прикончить. Возможно ли, что я уже снова готова верить вам? А комедия, которой вы меня тут прельщали? Недостойная, мастерски разыгранная комедия, в которой вы изобразили себя непонятым страдальцем, чуть ли не героем!

— Вы приписываете мне слишком изощренное мастерство! Не считайте меня хуже, чем я есть на самом деле! Когда я брожу в толпе, переодетый продавцом лимонада, и кто-нибудь обманывает меня на несколько грошей, случается, что меня охватывает непритворное негодование. Но если позади шепчутся двое заговорщиков, я приму к сведению каждое слово. То же самое произошло у меня и с вами, синьора!

Она подходит к нему совсем близко. Не отрываясь, смотрит ему в глаза.

— Вы многого не договариваете. Это была не только искусная игра, это была ваша жизнь, ваши страдания. Это были ваши мечты, вы показали, кем вы могли

бы стать... Вы опускаете глаза. Вот она, правда, я зналась ее: о, не отнимайте ее у меня опять! Ведь это верно, что она открылась мне?

— Возможно. На мгновение мной овладели возбуждение и усталость, и вот это случилось. Обычно мне удается устоять. Не раз бывало, что меня влекло в тюрьму, к человеку, которого я приказал осудить. Как мне хотелось пробраться туда и открыться приговоренному к казни! Пусть он узнает, что хотел убить невинного. Пусть хотя бы один человек узнает меня. Едва забрезжит утро, они выведут его под звуки барабана, и тайна моя умрет вместе с ним. Но мне всегда удавалось устоять: почему же сегодня это оказалось невозможным?

— Судьба! Я должна была найти путь к вашему сердцу, спасти вас!

— Вы ввели меня в соблазн. Я хотел бы пощадить вас, вы так прекрасны. А теперь я принужден убить вас. Почему вы не ушли? Когда упавший меч — дурное предзнаменование — предупредил нас, я вас отпустил. Тогда я еще мог дать вам свободу. Но теперь вы знаете меня, а ни один человек, узнавший меня, не смеет дольше жить.

— Но почему же, если сами вы решите вернуться к жизни? Если перестанете убивать, убивать самого себя, даруете жизнь и нам и себе.

— Моя честь не может допустить такой жертвы. Я не имею права быть слабым.

— Нет, вы не слабы: у вас человеческое сердце! Признайтесь в этом!

— Это было бы преступным легкомыслием. Что осталось бы у меня, если б я сам себя покинул?

— Мы все! Народ! Человечество!

— А кто поверит раскаянию тирана? Разве поверили в его преданность друзья, когда он был еще ребенком и не запятнал себя ничьей кровью?.. Вы видите, синьора, что спасти меня невозможно. Я отверженный, венец славы не позволяет мне унизиться перед людьми... Ах! Уходите! Бегите! Не тревожьте меня взглядом этих больших честных глаз! Не испытывайте дольше своей красотой! А что, если я пожертвую для вас всем? Ува-

жением к себе? Или даже жизнью? Вы добились того, что я жажду пожертвовать собой. В сущности это и есть истинное отречение... И, может быть, сладостно ощутить холод стали, которой ваша рука пронзила бы мое сердце. Вы похожи на Юдифь, о которой я мечтаю в часы самых тяжелых страданий.

Кидая жадный взгляд через ее плечо:

— Вы все еще держите за спиной кинжал?

Раминга бросает кинжал на пол. Берет его руки в свои.

— Убить вас! Нет, не могу. Я не могу бежать без вас. Пусть они сами завоевывают свободу; я женщина и не могу отнять последнюю надежду у несчастного, убить того, кто так нуждается в утешении.

— Чего вы хотите? Неужели не все еще сказано?

— Я хочу увести вас далеко-далеко, научить верить в доброту и честность.

— Я знаю, что они не существуют. Я готов допустить, что человеческая доброта существует где-нибудь на других планетах. Эту я знаю слишком хорошо.

— Вы будете наблюдать издали, какой расцвет принесет людям свобода, какими они станут здоровыми и добрыми, и это исцелит вас.

— Наблюдать?

Он отстраняет ее.

— Бессильно наблюдать? Хорош бы я был! Итак, вы будете свободны и счастливы, а что же это даст мне, для которого власть — источник жизни? Ведь если с помощью власти я ничего не способен достичь и создать, то я могу хотя бы кое-как влачить существование. На большее все вы вместе взятые не способны. А я не верю ни во что другое.

Он поворачивается на каблуках, щелкает пальцами.

— Да и вообще ваша доброта мне скоро прискучит, чертовски прискучит. Не смей ненавидеть вас, мучить, запирать в тюрьмы, наказывать... Ах, это невозможно.

Отступая назад:

— Тот, кто знает, что такое быть тираном, кто насладился этой игрой с людьми, вкусил это презрение к людям, этот страх перед людьми,— не думайте, что он когда-нибудь добровольно откажется от власти!

Облокотясь на спинку кресла, сторбившись, он мрачно смотрит вперед из-под нахмуренных бровей.

— Все это слишком ясно. Вы хотите исподволь разделиться со мной. Вы страшитесь шума, который вызвала бы моя смерть. Но стоит мне уйти из города, как моя гибель будет неизбежна.

Рассмеявшись, с мальчишеским задором:

— Ну и глупы же вы, обманщики! Теперь, вы, наконец, у меня в руках. Славная добыча! Сестра Валенте! Конечно, и он был бы вместе с вами. А я считал его своим другом! Пусть же это будет моей последней глупостью. Он был умнее: он сомневался во мне. Надеюсь, что там, в Джезу, еще не окончательно потеряли терпенье. Видите, я снова ускользнул от вас! Эй, стража!

Токая ногами:

— Стража! Стража!

Ворвавшимся телохранителям:

— Взять эту женщину!

Раминга, выйдя из оцепенения:

— Алессандро!

Отвернувшись от нее и токая ногами, он кричит:

— Заставьте ее замолчать!

Один из стражей зажимает ей рот.

— Она предстанет перед нашим тайным судом. О дальнейшем мы распорядимся письменно. Мы не желаем больше видеть эту женщину.

Скрестив руки на груди, он поворачивается спиной к Раминге, в отчаянии смотрящей на него, между тем как ее силой тащат к выходу.